

Виктор НЕКРАСОВ КОМУ ЭТО НУЖНО? РЕЗОНАНС

Среди писем, пришедших в редакцию «Литературной газеты» после публикации моих воспоминаний о Викторе Платоновиче Некрасове («ЛГ», 18 октября 1989 г.), было одно не совсем обычное. Незнакомый читатель-москвич прислал нам статью Виктора Некрасова, написанную незадолго перед тем, как он покинул родную страну. Человек, приславший статью в «ЛГ», сообщает, что записал ее на пленку во время передачи одной из зарубежных радиостанций в 1974 году. «Это память», — замечает он, — о бесконечно уважаемом мною писателе и человеке, которую я храню по сей день, хотя лично его не знал».

Как всегда у Некрасова, статья написана искренне, честно, правдиво, но на этот раз еще и с какой-то особенно горестной, нескрываемой душевной болью. В этом читатели убедятся после первых же строк, пусть только не забывают, что написано это не теперь и не «там», а у нас и тогда — в самый разгар застоя. Статья — как прощание. Она многое объясняет...

Григорий КИПНИС-ТРИГОРЬЕВ

НЕСКОЛЬКО дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимила, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга — поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уехали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калки, математик Александр Есенин-Вольпин. И многие другие — писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили — слово-то какое нашли! — у Даля его, например, нет — словно барин работника со двора прогнал.

Уехали, уезжают, уедут... Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, люди, которым не просто было принять такое решение, люди, которые любят свою родину и, ох, как будут тосковать по ней? Почему это происходит?

Задумываешься... И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе... И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее — и не на самом легком участке, — имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них...

Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким.

Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому — 120 изданий на более чем 30 языках мира.

Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трудности и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали.

Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять не закрылся — я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черноволы и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру.

Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором, и, наконец, почти без передыха, в 1972 году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода — за старые, как говорится, грехи — опять подписанное письмо, опять Бабий Яр... Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении: «...за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии».

Так отраздновал я — чуть ли не день в день — тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступил в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев.

С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература», изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получая я 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только о творческих своих делах.

За десять лет три персональных дела — это значит по три-четыре, а то и шесть месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя (а в последнем случае просто клевета и грязь)... Не слишком ли это много?

Оказывається, не только не много, но даже мало.

17 января сего 1974 года девять человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывом, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать должное, времени меняются — они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне «извините» и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали «разрешите?» и снимали со стен картины. Без зуботычин и без матовых слов они обыскивали всех присутствующих. А мен-

щин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ (какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их донага и заставляла приседать и заглядывать в уши, и ощупывала прически. И все это делалось обстоятельно и серьезно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка.

К концу вторых суток они все поставили на место, но увезли с собой семь мешков рукописей, книг, журналов, газет, писем, фотографий, пишущую машинку, магнитофон с кассетами, два фотоаппарата и даже три ножа — два охотничьих и один мамин, хирургический. Правда, два из семи мешков были заполнены журналами «Пари-матч», «Лайф» и «Обсервер» и часть вещей уже возвратили (в том числе и ножи, поняв, очевидно, что я никого резать не собирался), но основное: мои черновые, даже не перепечатанные на машинке рукописи до сих пор еще изучаются.

В ордере на обыск сказано, что он производится у меня как у свидетеля по делу № 62. Что это за дело, мне до сих пор неизвестно, кто по этому делу обвиняется — тоже тайна. Но по этому же делу у пятерых моих друзей в тот же день были произведены обыски, а трое были подвергнуты допросу. На одного из них, коммуниста-писателя, заведено персональное партийное дело. Всех их в основном расспрашивали обо мне. Что же касается меня самого, то я после обыска шесть дней подряд вызывался на допрос в КГБ к следователю по особо важным делам.

Как сказано было в том же ордере, цель обыска — «обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания». На основании этого у меня были изъяты, кроме моих рукописей, книги Зайцева, Шмелева, Цветаевой, Бердяева, «Один день Ивана Денисовича» на итальянском языке (на русском не взяли), однотомник Пушкина на языке иврит (вернули), «Житие преподобного Серафима Саровского» (вернули), «Скотный двор» Оруэлла оставили себе, немецкие и украинские газеты периода Сталинградской битвы, ну, и упомянутые «Пари-матчи», которые вернули, но не все, какие-то, в частности, номер, посвященный Хрущеву (октябрь 1964), оказались предосудительными.

Кто может дать точное определение понятию «антисоветский»?

В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин — сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей.

Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года — как надо рассматривать: как про- или антисоветскую?

А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей (гитлеризм — это идея!) — абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью — ее изъяли бы или нет?

А речи Берии? Его биографию с громадным портретом в Большой Советской Энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине — это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит на это?

Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой, но архив писателя — это все же архив писателя. Он для работы, он и просто собран интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боюсь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев, по количеству так называемой «клеветнической» литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что у многих ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть, и больше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросам не подвергают.

Обыск — это высшая степень недоверия государства к своему гражданину. Допрос — это обидная и оскорбительная (при всей внешней вежливости) форма выпытывания у тебя, зачем и для чего ты хранишь ту или иную книгу, то или иное письмо. И вот я задаю себе вопрос: с какой целью это делается? Запутать, устроить, унижить? Впрочем, куда унижительнее рыться в чужих письмах, чем смотреть, как в них роются люди, получающие за это зарплату, и немало, и считающие, что, увозя из библиотеки писателя стихи Марины Цветаевой, принесли государству пользу. Кому все это выгодно? Кому это нужно? Неужели государство? А может, думают, что, поугав, пригрозив, принудят на какие-то шаги?

Во многих инстанциях — а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и всеильных, и послабее! — мне говорили (кто строго, кто с улыбкой), что давно пора сказать народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали. Кто попряме, кто более окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди — и какие люди! — пишут письма. А вы что же?

И вот тут мне остается только удивляться. Неужели кто-либо мог серьезно подумать, что порядочный человек может позволить себе включиться в этот позорный поток брани, который

вылился на голову двух достойнейших людей нашей страны — Сахарова и Солженицына? Неужели такой ценой зарабатывается право работать и печататься? А ведь вам, уважаемый товарищ, говорили мне во всех инстанциях, с улыбкой или без улыбки, надо писать и писать. Читатель ждет не дожидается, все в ваших руках...

И я могу ответить. Прямо и не лукавя. Нет, пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквилей, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, «...случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи».

Но тут же сразу возникает другой вопрос. И куда послужнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордерами могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты пишешь, забрать и унести?

У меня унесли недописанную еще работу — небольшую, но очень важную для меня — о Бабьем Яру, о трагедии сорок первого года, о том, как сровняли после войны с берегами врага глубиной сорок метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет; о том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября и какие события там происходят.

И вот рукопись унесли и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на

всех атаках его замыкания тоже унесли. И пленку тоже... Вернут ли? Не знаю... Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. И так что же? До окончания вена? А пленку? Сожгут?

Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя (а может быть, у всех общая?) причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу. И задумываюсь. Очень крепко задумываюсь...

Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достойным чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, архитектор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний.

А насчет баррикад... Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах, и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордерами, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад.

ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ

творческий конкурс для поступающих на дневное и заочное отделения по жанрам: поэзия, проза, драматургия, литературная критика, детская литература.

Семинары набирают:

на дневное отделение: проза — С. ЕСИН, поэзия — О. ЧУХОНЦЕВ и С. ЧУПРИНИН; на заочное отделение: проза — Н. ЕВДОКИМОВ, А. ПРИСТАВКИН, поэзия — Н. СТАРШИНОВ, детская литература — С. ИВАНОВ и Р. СЕФ, а также на дневное отделение в группы художественного перевода: башкирская, татарская и кубинская.

На дневное отделение принимаются лица до 35 лет, имеющие среднее образование. Лица с высшим образованием, поступающие на заочное отделение, должны иметь разрешение с места работы на получение второй специальности. Имеющие высшее гуманитарное образование в Литературный институт не принимаются.

На конкурс представляются опубликованные и неопубликованные (напечатанные на машинке) произведения в объеме: поэзия — не менее 0,5 авторского листа (350—400 строк), проза (рассказы, повести) — 1,5—2 авторских листа (35—50 машинописных страниц), драматургия — 1,5—2 авторских листа (35—50 машинописных страниц), литературная критика — 1,5 авторского листа — 35 машинописных страниц (представляются две статьи), художественный перевод — 1 авторский лист — 25 машинописных страниц (представляются и оригиналы). Произведения, написанные не на русском языке, сопровождаются подстрочным переводом. Срок представления работ — до 1 апреля 1990 г.

Автор должен сообщить: фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, партийность, образование (наименование учебного заведения и год его окончания), стаж трудовой деятельности, где и кем работает в настоящее время, указать домашний адрес и на какое отделение (дневное или заочное) поступает. К творческой работе необходимо приложить автобиографию в свободной форме.

О решении приемной комиссии абитуриенты уведомляются до 1 июля 1990 года. Рукописи не возвращаются.

Вступительные экзамены проводятся: на дневное отделение — с 1 августа, на заочное — с 17 августа по русскому языку и литературе (письменно и устно), истории СССР.

За справками обращаться в приемную комиссию по адресу: 103104 Москва, Тверской бульвар, 25. Телефон: 202-06-02.